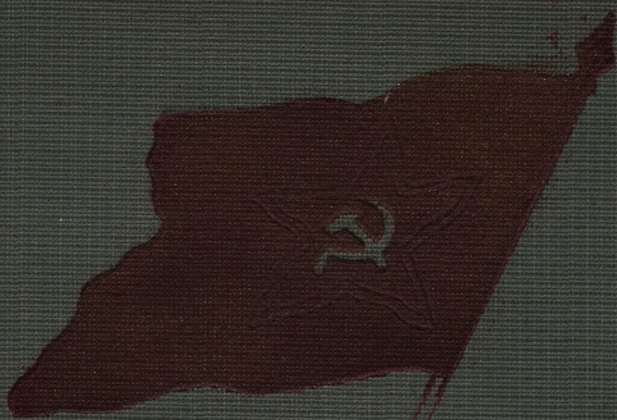


# НОВЫЙ МИР



XX ЛЕТ  
КРАСНОЙ АРМИИ И  
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

2

МОСКВА 1938

# **НОВЫЙ МИР**

---

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

ФЕВРАЛЬ

---

МОСКВА  
1938

---

Уполн. Главлита В—32821.  
Объем 18 печ. л. по 64.000 знаков.  
Одано в набор 15/II—38 г. Подписано к печати 11/II—38 г.  
Тираж 80.000. Завод 10.000. Заказ № 3288.  
Технический редактор А. И. Гессен.  
Тип. «Известий» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва.

## СОДЕРЖАНИЕ

*ВКЛАДКИ — портреты В. И. Ленина, И. В. Сталина,  
М. В. Фрунзе и К. Е. Ворошилова.*

	Стр.
XX ЛЕТ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА	5
ЛЕНИН-ВОЖДЬ, перевод с армянского	11
НАС ПОВЕЛ ТОВАРИЩ СТАЛИН, перевод с украинского	16
ДЖАМБУЛ — Вооруженный народ, поэма	17
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Хлеб, повесть, окончание	27
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон, роман, продолжение	105
Н. НЕЗЛОБИН — Партизанская, стихотворение	126
М. АЛИГЕР — Победители, стихотворение	127
БОРИС ЛАВРЕНЕВ — Выстрел с Невы, рассказ	129
АЛЕКСЕЙ СУРКОВ — Походная, стихотворение	142
С. ДИКОВСКИЙ — Конец «Саго-Мару», рассказ	143
К. КЛОСС — Танкисты, повесть	157

★

ФРУНЗЕ, стихотворение, перевод с казахского	178
Н. КРУЖКОВ — Михаил Васильевич Фрунзе	179
ОБРАЩЕНИЕ К ВОРОШИЛОВУ, стихотвор., пер. с казахского	188
К. АНАНЬЕВ — Климент Ворошилов	189
ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ, русская песня	210
К. ПАУСТОВСКИЙ — Маршал Блюхер	211
ОСВОБОДИТЕЛЮ КАВКАЗА, перевод с кабардьянского	224
ВС. САБЛИН, Э. ФАЗИН — Товарищ Серго,	225

★

А. ВИНОГРАДОВ — Василий Чапаев	231
МИХ. ЕВГЕНЬЕВ — Щорс и Боженко,	247
О. КОТОВСКАЯ — Воспоминания о Котовском	255
А. ПЕРВЕНЦЕВ — Иван Кочубей	263

★

П. АЛЕКСАНДРОВ — Приезд товарища Сталина в Первую Конную армию	276
--	-----

## БИБЛИОГРАФИЯ

К. Е. Ворошилов — Сталин и Красная Армия	284
--	-----

★



# Тихий Дон

РОМАН

(Продолжение) <sup>1</sup>

МИХ. ШОЛОХОВ

★

## ГЛАВА XXV

Через месяц Григорий выздоровел. Впервые поднялся он с постели в двадцатых числах ноября и — высокий, худой, как скелет, — неуверенно прошелся по комнате, стал у окна.

На земле, на соломенных крышах сараев ослепительно белел молодой снежок. По проулку виднелись следы санных полозьев. Голубоватый иней, опустивший плетни и деревья, сверкал и отливал радугой под лучами закатного солнца.

Григорий долго смотрел в окно, задумчиво улыбаясь, поглаживая костлявыми пальцами усы. Такой славной зимой он, как будто, еще никогда не видел. Все казалось ему необычным, исполненным новизны и значения. У него после болезни словно обострилось зрение, и он стал обнаруживать новые предметы в окружающей его обстановке и находить перемены в тех, что были знакомы ему издавна.

Неожиданно в характере Григория проявились ранее не свойственные ему любопытство и интерес ко всему происходившему в хуторе и в хозяйстве. Все в жизни обретало для него какой-то новый, сокровенный смысл, все привлекало внимание. На вновь явившийся ему мир он смотрел чуточку удивленными глаза-

ми, и с губ его подолгу не сходила простодушная, детская улыбка, странно изменявшая суровый облик лица, выражение звероватых глаз, смягчавшая жесткие складки в углах рта. Иногда он рассматривал какой-нибудь с детства известный ему предмет хозяйственного обихода, напряженно шевеля бровями и с таким видом, словно был человеком, недавно прибывшим из чужой, далекой страны, видевшим все это впервые. Ильинична была несказанно удивлена, однажды застав его разглядывавшим со всех сторон прялку. Как только она вошла в комнату, Григорий отошел от прялки, слегка смутившись.

Дуняшка не могла без смеха смотреть на его мослаковатую, длинную фигуру. Он ходил по комнате в одном нижнем белье, придерживая рукой сползающие кальсоны, сгорбясь и несмело переставляя высохшие голенастые ноги, а когда садился, то непременно хватался за что-нибудь рукой, боясь упасть. Черные, отросшие за время болезни волосы его лезли, курчавый, с густой проседью чуб свалаялся.

При помощи Дуняшки он сам обрил себе голову, и, когда повернулся лицом к сестре, та уронила на пол бритву, схватилась за живот и, повалившись на кровать, задохнулась от хохота.

Григорий терпеливо ждал, пока она отсмеется, но потом не выдержал, сказал слабым, дрожащим тенорком:

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. кн. 12 за 1937 г. и 1 с. г.

— Гляди, так недолго и до греха. Опосля стыдно будет, ты ить невеста.— В голосе его прозвучала легкая обида.

— Ой, братушка! Ой, родненький! Я лучше уйду... силов моих нету! Ой, на чего ты по-хо-о-ож! Ну, чистое огородное чучело! — между приступами смеха еле выговорила Дуняшка.

— Поглядел бы я на тебя, какая ты бы стала опосля тифа. Подыми бритву, ну?!

Ильинична вступилась за Григория, с досадой сказала:

— И чего иржешь, на самом деле? Тот-то дура ты, Дунька!

— Да погляди, маманя, на чего он псхож! — вытирая слезы, говорила Дуняшка. — Голова вся в шишках, круглая, как арбуз, и такая же темная... Ой, не могу!

— Дай зеркало! — попросил Григорий.

Он посмотрелся в крохотный осколок зеркала и сам долго, беззвучно смеялся.

— И на что ты, сынок, брился, уж лучше бы так ходил, — с неудовольствием сказала Ильинична.

— По-твоему, лучше лысым быть?

— Ну, и так стратотно до невозможности.

— Да ну вас совсем! — с досадой проговорил Григорий, взбивая помазком мыльную пену.

Лишенный возможности выходить из дому, он подолгу возился с детиска-ми. Разговаривая с ними обо всем, избегал упоминать о Наталье. Но однажды Полюшка, ласкаясь к нему, спросила:

— Батяня, а маманька к нам не вернется?

— Нет, милушка, оттуда не возвращаются...

— Откуда? С кладбища?

— Мертвые, словом, не возвращаются...

— А она навовсе мертвая?

— Ну, а как же иначе? Конечно, мертвая.

— А я думала, что она когда-нибудь соскучится по нас и придет... — чуть слышно прошептала Полюшка.

— Ты об ней не думай, моя родная, мне надо, — глухо сказал Григорий.

— Как же об ней не думать? А они проведывать не приходят? Хучь на чу-док. Нет?

— Нет. Ну, пойдн, поиграй с Мишаткой. — Григорий отвернулся. Видно, болезнь ослабила его волю: на глазах его показались слезы, и, чтобы скрыть их от детей, он долго стоял у окна, прижавшись к нему лицом.

Не любил он разговаривать с детьми о войне, а Мишатку война интересовала больше всего на свете. Он часто приставал к отцу с вопросами, как воюют, и какие красные, и чем их убивают, и для чего. Григорий хмурился, с досадой говорил:

— Ну, вот, опять заладила сорока про Якова! И на что она тебе сдалась, эта война? Давай лучше погугарим об том, как будем летом рыбу удочками ловить. Тебе удочку справить? Вот как только зачну выходить на баз, так сразу же ссучу тебе из конского волоса леску.

Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка заговаривал о войне: никак не мог ответить на простые и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе? Но от Мишатки не так-то легко было отделаться: как будто и со вниманием выслушивал он планы отца, посвященные рыбной ловле, а потом снова спрашивал:

— А ты, папанька, убивал людей на войне?

— Отвяжись, репей!

— А страшно их убивать? А кровь из них идет, как убивают? А много крови? Больше, чем из курицы либо из барана?

— Я тебе сказал, что брось ты об этом!

Мишатка на минуту замолкал, потом раздумчиво говорил:

— Я видал, как дед резал недавно оцу. Мне было не страшно... Может, так трошки-трошки страшно, а то ничуть!

— Прогони ты его от себя! — с досадой восклицала Ильинична. — Вот ишо душегуб растет! Истый арестанюга! Только от него и послышишь, что про



войну, окромя он и разговору не знает. Да мысленно ли дело тебе, чадушка, об ней, об проклятой, прости господи, гугарить? Иди сюда, возьми вот блинец да помолчи хучь чудок.

Но война напоминала о себе ежедневно. Приходили провеживать Григория вернувшиеся с фронта казаки, рассказывали о разгроме Шкуро и Мамонтова конницей Буденного, о неудачных боях под Орлом, об отступлении, начавшемся на фронтах. В боях под Грибановкой и Кардаилом были убиты еще двое татарцев; привезли раненого Терасима Ахваткина; умер болевший тифом Дмитрий Голощек. Григорий мысленно перебирал в памяти убитых за две войны казаков своего хутора, и оказалось, что нет в Татарском ни одного двора, где бы не было покойника.

Григорий еще не выходил из дома, а уж хуторской атаман принес распоряжение станичного атамана, предписывавшее уведомить сотника Мелехова о незамедлительной явке на врачебную комиссию для переосвидетельствования.

— Отпиши ему, что, как только научусь ходить, сам явлюсь, без ихних напоминаний, — с досадой сказал Григорий.

Фронт все ближе придвигался к Дону. В хуторе начали поговаривать об отступлении. Вскоре на майдане был оглашен приказ окружного атамана, обязывавший ехать в отступление всех взрослых казаков.

Пантелей Прокофьевич пришел с майдана, рассказал Григорию о приказе, спросил:

— Что будем делать?

Григорий пожал плечами.

— Чего же делать? Надо отступить. И без приказа все тронутся.

— Я про нас с тобою спрашиваю: вместе поедем или как?

— Вместе нам не придется ехать. Дня через два я сбегаю верхом в станицу, узнаю, какие частя будут иттить через Вешки, пристану к какой-нибудь. А твое дело ехать беженским порядком. Или ты хочешь в воинскую часть поступить?

— Будь она неладна! — испуганно сказал Пантелей Прокофьевич. — Я то-

гда поеду с дедом Бесхлебновым, он надьсь пригласал ехать за компанию. Старик он — смиренный, и конь у него добрячий, вот мы и спрягемся и дунем на пару. Моя кобылка тоже стала из жиру вон. Так, проклятая, раз'елась и так взбрыкивает, ажник страшно!

— Ну, вот и езжай с ним, — охотно поддержал Григорий. — А пока давай договоримся насчет вашего маршрута, а то, может, и мне доведется тем же путем иттить.

Григорий достал из планшетки карту юга России, подробно рассказал отцу, через какие хутора нужно ехать, и уже начал было записывать на бумагу названия хуторов, но старик, с уважением поглядывавший на карту, сказал:

— Постой, не пиши. Ты, конечно, в этих делах больше моего понимаешь, и карта — это дело сурьезное, уж она не сбрешет и покажет прямой путь, но только как я его буду держаться, ежели мне это неподходяще? Ты говоришь, надо спервоначалу ехать через Каргинскую, я понимаю: через нее прямее, — а все одно мне и тут надо крюку дать.

— Это зачем же тебе крюку давать?

— А затем, что в Латышевом у меня двоюродная сестра, у ней я и себе, и коням корму добуду, а у чужих придется свое тратить. И дальше: ты говоришь, надо по карте на слободу Астахово ехать, — туда прямее, — а я поеду на Малаховский: там у меня — тоже дальняя родня и односум есть; там тоже можно своего сена не травить, чужим попользоваться. Поимей в виду, что прикладка сена с собой не увезешь, а в чужом краю, может статься, не токмо не выпросишь, но и за деньги не купишь.

— А за Доном у тебя родни нету? — ехидно спросил Григорий.

— Есть и там.

— Так ты, может, туда поедешь?

— Ты мне чертовщину не пори! — вспыхнул Пантелей Прокофьевич. — Ты дело говори, а не шутики вышучивай! Нашел время шутить, тоже, умник выискался!

— Нечего тебе родню собирать! Отступать — так отступать, а не по родне ездить, это тебе не масленица!



— Ну, ты мне не указывай, куда мне ехать, сам знаю!

— А знаешь, так и езжай куда хочешь!

— Не по твоим же планам мне ехать? Прямо только сорока летает, ты об этом слыхал? Попрусь я чорт-те куда, где, может, зимой и дороги сроду не бывает. Ты-то с умом собрался такую ерунду говорить? А ишо дивизией командовал!

Григорий и старик долго пререкались, но потом, обдумав все, Григорий должен был признать, что в словах отца было много справедливого, и примирительно сказал:

— Не сердчай, батя, я тебе не навязываю своего маршрута, езжай, как хочешь. Постараюсь за Донцом тебя разыскать.

— Вот так бы и давно сказал! — обрадовался Пантелей Прокофьевич. — А то лезешь с разными планами да маршрутами, а того не понимаешь, что план — планом, а без корма лошадям ехать некуда.

Еще во время болезни Григория старик исподволь готовился к отъезду: с особой тщательностью выкармливал кобылу, отремонтировал сани, заказал свалять новые валенки и собственноручно подшил их кожей, чтобы не промокали в сырую погоду; заблаговременно насыпал в чувалы отборного овса. Он и отступать готовился, как настоящий хозяин: все, что могло понадобиться в поездке, было предусмотрительно приготовлено им. Топор, ручная пила, долото, сапожный инструмент, нитки, запасные подметки, гвозди, молоток, связка ремней, бичева, кусок смолы, — все это, вплоть до подков и ухналей, было завернуто в брезент и в одну минуту могло быть уложено в сани. Даже безмен Пантелей Прокофьевич брал с собой и на вопрос Ильиничны, зачем ему понадобится безмен в дороге, укоризненно сказал:

— Ты, бабка, чем ни больше стареешь, тем больше дуреешь. Неужли ты такую простую штуку сама не сообразишь? Сено-то, али мякину в отступе мне придется на вес покупать? Не аршином же там сено меряют?

— Так уж там и весов нету? — удивилась Ильинична.

— А ты почем знаешь, какие там веса? — озлился Пантелей Прокофьевич. — Может, там все веса с обманом, чтобы нашего брата обвешивать. То-то и оно! Знаем мы, какие там народы живут! Купишь тридцать фунтов, а заплатишь чистую денежку за пуд. А мне — как такой убыток терпеть на каждой остановке, так лучше я со своим безменом поеду, небось не заважит! А вы тут и без весов проживете: на чорта они вам сдались? Военные части будут иттить, так они берут сено не вешамши... Им только успевай в фуражирки навязывать. Видал я их, чертей безрогих, знаю отлично!

Вначале Пантелей Прокофьевич думал даже повозку везти на санях, чтобы весною не тратиться на покупку и ехать на своей, но потом, пораздумав, отказался от этой пагубной мысли.

Начал собираться и Григорий. Он прочистил маузер, винтовку, привел в порядок верно служивший ему клинок; через неделю после выздоровления пошел проведать коня и, глядя на его лоснящийся круп, убедился, что старик выкармливал не только свою кобылу. С трудом сел на взывавшего коня, проехал его, как следует, и, возвращаясь домой, видел, — а быть может, это лишь показалось ему, — будто кто-то махнул ему беленьким платочком в окне астаховского куреня...

На сходе татарцы решили выезжать всем хутором. Двое суток бабы пекли и жарили казакам на дорогу всякую снедь. Выезд назначен был на 12 декабря. С вечера Пантелей Прокофьевич уложил в сани сено и овес, а утром, чуть забрезжил рассвет, надел тулуп, подпоясался, заткнул за кушак голицы, помолился богу и распрощался с семьей.

Вскоре огромный обоз потянулся из хутора на гору. Вышедшие на прогон бабы долго махали уезжавшим платками, а потом в степи поднялась поземка и за снежной кипящей мглой не стало видно ни медленно взбирающихся на гору подвод, ни шагавших рядом с ними казаков.

Перед отъездом в Вешенскую Григорий увиделся с Аксиньей. Он зашел к ней вечером, когда по хутору уже зажглись огни. Аксинья пряла. Около нее сидела аникушкина вдова, вязала чулок, что-то рассказывала. Увидев постороннюю, Григорий коротко сказал Аксинье:

— Выйди ко мне на минуту, дело есть.

В сенях он положил ей руку на плечо, спросил:

— Поедешь со мной в отступление?

Аксинья долго молчала, обдумывая ответ, потом тихо сказала:

— А хозяйство как же? Дом?

— Оставишь на кого-нибудь. Надо ехать.

— А когда?

— Завтра заеду за тобой.

Улыбаясь в темноте, Аксинья сказала:

— Помнишь, я тебе давно говорила, что поеду с тобой хучь на край света. Я и зараз такая. Моя любовь к тебе верная. Поеду, ни на что не погляжу! Когда тебя ждать?

— На вечер. Много с собой не бери. Одежду и харчей побольше, вот и все. Ну, прощай пока.

— Прощай. Может, зашел бы?.. Она зараз уйдет. Целый век я тебя не видала... Милый мой, Гришенька! А я уж думала, что ты... Нет! Не скажу.

— Нет, не могу. Мне зараз в Вешки ехать, прощай. Жди завтра.

Григорий уж вышел из сенцев и дошел до калитки, а Аксинья все еще стояла в сенцах, улыбалась и терла ладонями пылающие щеки.

В Вешенской началась эвакуация окружных учреждений и интендантских складов. Григорий в управлении окружного атамана справился о положении на фронте. Молоденький хорунжий, исполнявший должность адъютанта, сказал ему:

— Красные около станицы Алексеевской. Нам неизвестно, какие части будут идти через Вешенскую, и будут ли идти. Вы сами видите — никто ничего не знает, все спешат удирать... Я бы

вам посоветовал сейчас не разыскивать вашу часть, а ехать в Миллерово, там вы скорее узнаете о ее местопребывании. Во всяком случае, ваш полк будет проходить по линии железной дороги. Будет ли противник задержан у Дона? Ну, не думаю. Вешенскую сдадут без боя, это наверняка.

Поздно ночью Григорий вернулся домой. Готовя ужин, Ильинична сказала:

— Прохор твой заявился. Час спустя, как ты уехал, приходил и сулился зайти ишо, да вот что-то нету его.

Обрадованный Григорий наскоро повечерял, пошел к Прохору. Тот встретил его, невесело улыбаясь, сказал:

— А я уж думал, что ты прямо из Вешек зацвел в отступление.

— Откуда тебя черти принесли? — спросил Григорий, смеясь и хлопая верного ординарца по плечу.

— Ясное дело — с фронта.

— Удрал?

— Что ты, господь с тобой! Такой лихой вояка, да чтобы убежал? Приехал по закону, не схотел без тебя в теплые края правиться. Вместе грешили, вместе надо и на страшный суд ехать. Дела-то наши — табак, знаешь?

— Знаю. Ты расскажи, как это тебя из части отпустили?

— Это — песня длинная, после расскажу, — уклончиво ответил Прохор и помрачнел еще больше.

— Полк где?

— А чума его знает, где он зараз.

— Да ты когда же оттуда?

— Недели две назад.

— А где же ты был это время?

— Вот какой ты, ей-богу... — недовольно сказал Прохор и покосился на жену. — Где, да как, да чего... Где был — там уж меня нету. Сказал — расскажу, значит расскажу. Эй, баба! Дымка есть у тебя? Надо бы при встрече с командиром глнуть по маленькой, есть, что ли? Нету? Ну, сбегай, добудь, да чтобы на одной ноге обернулась! Отвыкла без мужа от военной дисциплины! Разболталась!

— И чего это ты расходился? — улыбаясь, спросила прохорова жена. — Ты на меня не джоже шуми, хозяин ты

тут небольшой, в году два дня дома бываешь.

— Все на меня шумят, а я на кого же зашумлю, окромя тебя? Погоди, дослужусь до генеральского чина, тогда на других буду пошумливать, а пока терпи, да поскорей надевай свою амуницию и беги!

После того, как жена оделась и ушла, Прохор укоризненно поглядел на Григория, заговорил:

— Понятия у тебя, Пантелевич, никакого нету... Не могу же я тебе при бабе всего рассказывать, а ты нажимаешь, как, да что. Ну, как, поправился после тифу?

— Я-то поправился, рассказывай про себя. Что-то ты, вражий сын, скрытничает... Выкладывай: чего напугал? Как убер?

— Тут хуже, чем убер... После того, как отвез тебя хворого, возвращаюсь в часть. Направляют меня в сотню, в третий взвод. А я же страшный охотник воевать! Два раза сходил в атаку, а потом думаю: «Тут мне и копыта откинуть придется! Надо искать какую-нибудь дыру, а то пропадешь ты, Проша, как пить дать!». А тут, как на грех, такие бои завязались, так нас жмут, что и вздохнуть не дают! Что ни прорыв — нас туда пихают; где неустойка выходит — опять же наш полк туда прут. За неделю в сотне одиннадцать казаков будто корова языком слизнула! Ну, я и заскучал, даже вша на мне появилась от тоски. — Прохор закурил, протянул Григорию кисет, неспеша продолжал: — И вот припало мне возле самых Лисок в разезде быть. Поехало нас трое. Едем по бугру рыском, во все стороны поглядываем, смотрим — из ярка вылезит красный и — рукиверху держит. Подскакиваем к нему, а он кричит: «Станичники! Я — свой! Не рубите меня, я перехожу на вашу сторону!». И чорт меня попутал: с чего-то зло меня взяло, подскочил я к нему и говорю: «А ты, говорю, сукин сын, ежели взялся воевать, так сдаваться не должен! Подлюка ты, говорю, этакая. Не видишь, что ли, что мы и так насилу держимся? А ты сдаешься, укрепление нам делаешь?!» Да с тем

ножнами его с седла и потянул вдоль спины. И другие казаки, какие были со мной, тоже ему втолковывают: «Разве это резон так воевать, крутиться, вертеться на все стороны? Взяться бы дружнее — вот бы и войне концы!». А чорт его знал, что он, этот перебежчик, офицер? А он им в аккурат и оказался! Как я его вгорячах вдарил ножнами, он побелел с лица и тихо так говорит: «Я — офицер, и вы не смейте меня бить! Я сам в старое время в гусарах служил, а к красным попал по мобилизации, и вы меня доставьте к вашему командиру, там я ему все расскажу». Мы говорим: «Давай твой документ». А он гордо так отвечает: «Я с вами и говорить не желаю, ведите меня к вашему командиру!».

— Так чего ж ты об этом при жене не схотел гутарить? — удивленно прервал Григорий.

— До этого ишо не дошло, об чем я при ней не мог рассказывать, и ты меня, пожалуйста, не перебивай. Решили мы его доставить в сотню, а зря... Было бы нам его там же убить, и делу конец. Но мы его пригнали, как и полагается, а через день глядим — назначают нам его командиром сотни. Это как? Вот тут и началось! Вызывает он меня, спустя время, спрашивает: «Так-то ты сражаешься за единую неделимую Россию, сукин сын? Ты что мне говорил, когда меня в плен забирал, помнишь?». Я — туда, я — сюда, не дает он мне никакой пощады — и как вспомнит, что я его ножнами потянул, так аж весь затрясется! — «Ты знаешь, говорит, что я — ротмистр гусарского полка и дворянин, а ты, хам, смог меня бить?». Вызывает раз, вызывает два, и нету мне от него никакой милости. Велит взводному без очереди меня в заставы и караулы посылать, наряды на меня сыплются, как горох из ведра, ну, словом, с'едает меня стерва поедом! И такую же гонку гонит на остальных двоих, какие вместе со мной в разезде были, когда его в плен забирали. Ребята терпели-терпели, а потом отзывают как-то меня и говорят: «Давайте его уьем, иначе он не даст нам жизни!». Подумал я и решил рас-

сказать обо всем командиру полка, а убивать не дозволила совесть. При том моменте, когда забирали его в плен, можно было бы кокнуть, а уж посла как-то рука у меня не подымалась... Жена курицу режет — и то я глаза зажмуряю, а тут человека надо убить...

— Убили-таки? — снова прервал Григорий.

— Погоди трошки, все узнаешь. Ну, рассказал я командиру полка, достиг до него, а он засмеялся и говорит: «Нечего тебе, Зыков, обижаться, раз ты его сам бил, и дисциплину он правильно устанавливает. Он хороший и знающий офицер». С тем я и ушел от него, а сам думаю: «Повесь ты этого хорошего офицера себе на гайтан вместо креста, а я с ним в одной сотне служить не согласный!». Попросил перевести меня в другую сотню, — тоже ничего не получилось, не перевели. Тут я и надумал из части смыться. А как смеешься? Отодвинули нас в ближний тыл на недельный отдых, и тут меня сызнава чорт попутал... Думаю: не иначе надо мне раздобыться каким-нибудь завялященным трипперешком, тогда и попаду в околодок, а там и отступление подойдет, дело на это запохаживалось. И, чего сроду со мной не было — начал я за бабами бегать, приглядываться, какая с виду ненадежней. А разве ее угадаешь? На лбу у нее не написано, что она больная, вот тут и подумай! — Прохор ожесточенно сплюнул, прислушался — не идет ли жена.

Григорий прикрыл ладонью рот, чтобы спрятать улыбку, — блестя сузившимися от смеха глазами, спросил:

— Добыл?

Прохор посмотрел на него слезящимися глазами. Взгляд их был грустен и спокоен, как у старой, доживающей век собаки. После недолгого молчания он сказал:

— А ты думаешь, легко его было добыть? Когда не надо — его ветром надует, а тут, как на пропасть, не найду, да и все, хучь криком кричи!

Полуотвернувшись, Григорий беззвучно смеялся, потом отнял от лица ладонь, прерывающимся голосом спросил:

— Не томи, ради Христа! Нашел, или нет?

— Конечно, тебе — смех... — обиженно проговорил Прохор. — Дурачье дело над чужой бедой смеяться, я так понимаю.

— Да я и не смеюсь... Дальше-то что?

— А дальше начал я за хозяйской дочерью притоптывать. Девка лет сорока, может — чуть помоложе. Из лица вся на угрях, и видимость, ну, одним словом — не дай и не приведи! Подсказали соседи, что она недавно к фершалу участвовала. «Уж у этой, думаю, непременно разживусь!». И вот я вокруг нее, чисто молодой кочет, хожу, зоб надуваю и всякие ей слова... И откуда что у меня бралось, сам не пойму! — Прохор виновато улынулся и даже, как будто, слегка повеселел от воспоминаний. И жениться обещал, и всякую другую пакость говорил... И так-таки достиг ее, улестил, и доходит дело близко до греха, а она тут как вдарится в слезы! Я так, я сяк, спрашиваю: «Может, ты больная, так это, мол, ничего, даже ишо лучше». А сам боюсь: дело ночное, как-раз ишо кто-нибудь припрется в мякинник на этот наш шум. «Не кричи, говорю, за ради Христа! И ежели ты больная — не бойсь, я из моей к тебе любви на все согласный!». А она и говорит: «Милый мой Прошенька! Не больная я ни чуточку. Я — честная девка, боюсь — через это и кричу». Не поверишь, Григорий Пантелевич, как она мне это сказала — так по мне холодный пот и посыпался! «Господи Иисусе, думаю, вот это я нарвался! Ишо чего не доставало!..». Не своим голосом я у ней спрашиваю: «А чего же ты, проклятая, к фершалу бегала? К чему ты людей в обман вводила?» — «Бегала я, говорит, к нему, притирку для чистоты лица брала». Схватился я тут за голову и говорю ей: «Вставай и уходи от меня зараз же, будь ты проклята, анчистра страшный! Не нужна ты мне честная, и не буду я на тебе жениться!». — Прохор сплюнул с еще большим ожесточением, неохотно продолжал: — Так и пропали мои труды за даром.

Пришел в хату, забрал свои монатки и перешел на другую квартиру в эту же ночь. Потом уж ребята подсказали, и я от одной вдовы получил, чего мне требовалось. Только уж тут я действовал напрямки—спросил: «Больная?».— «Немножко, говорит, есть». — «Ну, и мне его не пуд надо». Заплатил ей за выручку двадцатку-керенку, а на другой день покрасовался на свою достижение и зафитилал в околодок, а от туда прямо домой.

— Ты без коня приехал?

— Как так — без коня? С конем и с полной боевой выкладкой. Коня мне в околодок ребята прислали. Только не в этом дело: посоветуй, что мне бабе говорить? Или, может, лучше от греха к тебе пойтить, переночевать?

— Нет уж, к чорту! Ночуй дома. Скажи, что раненый. Бинт есть?

— Есть личный пакет.

— Ну и действуй.

— Не поверит, — уныло сказал Прохор, но все же встал. Порывшись в суммах, ушел в горницу, негромко сказал оттуда: — Прийдет она — займи ее разговором, а я на одной ноге!

Григорий, сворачивая папироску, обдумывал план поездки. «Лошадей спрягем и поедем на паре, — решил он. — Надо на вечер выезжать, чтобы не видели наши, что Аксютку беру с собой. Хотя все одно узнают...».

— Не досказал я тебе про сотенного. — Прохор, прихрамывая, вышел из горницы, подсел к столу. — Убили наши его на третий день, как я в околодок попал.

— Да ну?

— Ей-богу! В бою стукнули его сзади, на том дело и кончилось. Выходит, за зря я беду принимал, вот что досадно!

— Не нашли виноватого? — рассеянно спросил Григорий, поглощенный мыслями о предстоящей поездке.

— Когда там искать! Началась такая передвижка, что не до него было. Да что это баба моя пропала? Этак и лить расхочется. Когда думаешь ехать?

— Завтра.

— Не перегодим денек?

— Это к чему же?

— Я хучь бы вшей обтрес, неинтересно с ними ехать.

— Дорогой будешь обтрясать. Ждать дело не указывает. Красные в двух переходах от Вешек.

— С утра поедем?

— Нет, на ночь. Нам лишь бы до Каргинской добраться, там и заночуем.

— А не прихватют нас красные?

— Надо быть насготове. Я, вот что... Я думаю с собой Аксинью Астахову взять. Супротив ничего не имеешь?

— А мне-то что? Бери хучь двух Аксиньев... Коням будет тяжеловато.

— Тяжесть небольшая.

— Несподручно с бабами ездить... И на холеру она тебе сдалась? То мы одни и нужды не знали! — Прохор вздохнул, глядя в сторону, сказал: — Я так и знал, что ты ее с собой поволокешь. Все женихаеться... Эх, кнут по тебе, Григорий Пантелевич, давно кричит горькими слезьми!

— Ну, это тебя не касается, — холодно сказал Григорий. — Жене об этом не разбреши.

— А раньше-то я разбрехивал? Ты хучь бы совесть поимел! А дом она на кого же бросит?

В сенцах послышались шаги. Вошла хозяйка. На сером пуховом платке ее искрился снег.

— Мятель? — Прохор достал из шкафа стаканчики и только тогда спросил: — Да ты принесла чего-нибудь?

Румяная жена его достала из пазухи две запотевших бутылки, поставила на стол.

— Ну, вот и дорожку погладим! — оживленно сказал Прохор. Понюхав самогон, по запаху определил: — Первач! И крепкий до дьявола!

Григорий выпил два небольших стаканчика и, сославшись на усталость, ушел домой.

## ГЛАВА XXVI

— Ну, война кончилась! Пихнули нас красные так, что теперича до самого моря будем пятиться, пока не упремся задом в соленую воду, — сказал Прохор, когда выехали на гору.

Внизу, повитый синим дымом, лежал Татарский. За снежной розовеющей кромкой горизонта садилось солнце. Под полозьями хрустко поскрипывал снег. Лошади шли шагом. В задке пароконных саней, привалившись спиной к седлам, полулежал Григорий. Рядом с ним сидела Аксинья, закутанная в донскую, опушенную поречьем шубу. Из-под белого пухового платка блестяли, радостно искрились ее черные глаза. Григорий искоса поглядывал на нее, видел нежно зарумянившуюся на морозе щеку, густую черную бровь и синевато поблескивающий белок под изогнутыми заиневшими ресницами. Аксинья с живым любопытством осматривала заснеженную, сугробистую степь, натертую до глянца дорогу, далекие тонущие во мгле горизонты. Все было ново и необычно для нее, привыкшей не покидать дома, все привлекало ее внимание. Но изредка, опустив глаза и ощущая на ресницах приятный пощипывающий холодок инея, она улыбалась тому, что так неожиданно и странно сбылась давно пленившая ее мечта — уехать с Григорием куда-нибудь подальше от Татарского, от родной и проклятой стороны, где так много она перестрадала, где полжизни промучилась с нелюбимым мужем, где все для нее было исполнено неумолчных и тягостных воспоминаний. Она улыбалась, ощущая всем телом присутствие Григория, и уже не думала ни о том, какой ценою досталось ей это счастье, ни о будущем, которое было задернуто такой же темной мглой, как и эти степные, манящие в даль, горизонты.

Прохор, случайно оглянувшись, заметил трепетную улыбку на румяных и припухших от мороза губах Аксиньи, с досадой спросил:

— Ну, чего оскалешься-то? Невеста, да и только! Рада, что из дому вырвалась?

— А ты думаешь, не рада? — звонко ответила Аксинья.

— Нашла радость... Глупая, ты, баба! Ишо не видно, чем эта прогулка кончится, и ты загодя не ухмыляйся, прибири зубы.

— Мне хуже не будет.

— Погляжу я на вас, и до того тошно мне становится... — Прохор яростно замахнулся на лошадей кнутом.

— А ты отвернись и — палец в рот, — смеясь, посоветовала Аксинья.

— Опять же оказалась ты глупая! Так я с пальцем в роте и должен до моря ехать? Выдумала!

— Через чего же это тебе тошнота прикинулась?

— Молчала бы! Муж-то где? Схватила с чужим дядей и едешь чорт-те куда! А ежели зараз Степан в хутор заявился, тогда как?

— Знаешь что, Проша, ты бы в наши дела не путался, — попросила Аксинья, — а то и тебе счастья не будет.

— Я в ваши дела и не путаюсь, на шута вы мне сдались! Сказать-то я могу свою мнению? Или мне с вами заместо кучера ехать и с одними конями гутарить? Тоже, выдумала! Нет, ты хучь серчай, Аксинья, хучь не серчай, а драть бы тебя надо доброй хворостинной, драть, да ишо и кричать не велеть! А насчет счастья меня не пужай, я его с собой везу. Оно у меня особое, такое, что и петь не поет и спать не дает... Но, проклятые! Все бы вы шагом шли, сатаны лопухие!

Улыбаясь, Григорий слушал, а потом примиряюще сказал:

— Не ругайтесь попервам. Дорога нам лежит длинная, ишо успеете. Чего ты к ней привязываешься, Прохор?

— А того я к ней привязываюсь, — ожесточенно сказал Прохор, — что пушай она мне зараз лучше поперек не говорит. Я зараз так думаю, что нету на белом свете ничего хуже баб! Это — такое семя... это, братец ты мой, у бога — самая плохая выдумка, — бабы! Я бы их, чертей вредных, всех до одной перевел, чтобы они и не маячили на свете! Вот я какой на них злой зараз! И чего ты смеешься? Дурачье дело — над чужой бедой смеяться! Подержи вожжи, я слезу на минуту.

Прохор долго шел пешком, а потом угнездился в санях и разговора больше не заводил.

Ночевали в Каргинской. На утро, позавтракав, снова тронулись в путь и к

ночи оставили за собой верст шестьдесят дороги.

Огромные обозы беженцев тянулись на юг. Чем больше удалялся Григорий от юрта Вешенской станицы, тем труднее становилось найти место для ночлега. Около Морозовской стали попадаться первые воинские части казаков. Шли конные части, насчитывавшие всего по тридцать-сорок сабель, нескончаемо тянулись обозы. В хуторах все помещения к вечеру оказывались занятыми и негде было не только переночевать, но и поставить лошадей. На одном из тавричанских участков, бесцельно проездив в поисках дома, где бы можно было переночевать, Григорий вынужден был провести ночь в сарае. К утру намокшая во время мятели одежда замерзла, покоробилась и гремела при каждом движении. Почти всю ночь Григорий, Аксинья и Прохор не спали, и только перед рассветом согрелись, разложив за двором костер из соломы.

На утро Аксинья робко предложила: — Гриша, может передневали бы тут? Всю ночь промучились на холоду и почти не спали, может — отдохнем трюшки?

Григорий согласился. С трудом он нашел свободный угол. Обозы с рассветом тронулись дальше, но походный лазарет, перевозивший сто с лишним человек раненых и тифозных, тоже остался на дневку.

В крохотной комнатке, на грязном земляном полу спало человек десять казаков. Прохор внес полость и мешок с харчами, возле самых дверей постелил соломы, взял за ноги и оттащил в сторону какого-то беспробудно спавшего старика, сказал с грубоватой лаской:

— Ложись, Аксинья, а то ты так переморилась, что и на себя стала непохожа.

К ночи на участке снова набилось полным-полно народу. До зори на проулках горели костры, слышались людские голоса, конское ржанье, скрип полозьев. Чуть забрезжил рассвет — Григорий разбудил Прохора, шепнул:

— Запрягай. Надо трогаться.

— Чего так рано? — зевая, спросил Прохор.

— Послухай.

Прохор приподнял от седельной подушки голову, услышал глухой и далекий раскат орудийного выстрела.

Умылись, поели сала и выехали из ожившего участка. На проулках рядами стояли сани, суетились люди, в предрассветной тьме кто-то хрипло кричал:

— Нет уж, хороните их сами! Пока мы выроем на шесть человек могилу — полдень будет!

— Та хибя ж мы обязаны их ховать? — спокойно спрашивал второй.

— Небось зароете! — кричал хрипачий. — А не хотите — пусть лежат, тухнут у вас, мне дела нет!

— Та шо вы, господин дохтор! Нам колы усих ховать, яки из проезжих помырають, так тика це и робить. Мабуть сами приберете?

— Иди к чорту, олух царя небесного! Что мне из-за тебя лазарет красным сдавать прикажешь?

Об'езжая запрудившие улочку подводы, Григорий сказал:

— Мертвые никому не нужны...

— Тут до живых-то дела нету, а то — мертвые, — отозвался Прохор.

На юг двигались все северные станицы Дона. Многочисленные обозы беженцев перевалили через железную дорогу Царицын — Лихая, приближались к Манычу. Находясь неделю в дороге, Григорий расспрашивал о татарцах, но в хуторах, через которые доводилось ему проезжать, татарцы не были; по всей вероятности, они уклонились влево и ехали, минуя слободы украинцев, через казачьи хутора на Обливскую. Только на тринадцатые сутки Григорию удалось напасть на след хуторян. Уже за железной дорогой, в одном из хуторов он случайно узнал, что в соседнем доме лежит больной тифом казак Вешенской станицы. Григорий пошел узнать, откуда этот больной, и, войдя в низенькую хатенку, увидел лежавшего на полу старика Обнизова. От него он узнал, что татарцы уехали позавчера из этого хутора, что среди них много заболевших тифом, что двое



уже умерли в дороге и что его — Обнизова — оставили тут по его собственному желанию.

— Коль поцунуюсь и красные товарищи смилуются надо мной, не убьют — как-нибудь доберусь до дому, а нет — помру тут. Помирать-то все одно где, везде несладко... — прощаясь с Григорием, сказал старик.

Григорий спросил о здоровьи отца, но Обнизов ответил, что ничего не может сказать, так как ехал на одной из задних подвод и от хутора Малаховского Пантелея Прокофьевича не видел.

На следующей ночевке Григорию повезло: в первом же доме, куда он зашел, чтобы попроситься переночевать, встретил знакомых казаков с хутора Верхне-Чирского. Они потеснились, и Григорий устроился возле печки. В комнате вповалку лежало человек пятнадцать беженцев, из них трое больных тифом и один обмороженный. Казаки сварили на ужин пшенной каши с салом, радушно предложили Григорию и его спутникам. Прохор и Григорий ели с аппетитом, Аксинья отказалась.

— Аль не голодная? — спросил Прохор, за последние дни без видимой причины изменивший свое отношение к Аксинье и обращавшийся с ней грубовато, но участливо.

— Что-то тошно мне... — Аксинья накинула платок, вышла во двор.

— Не захворала она? — обращаясь к Григорию, спросил Прохор.

— Кто ее знает. — Григорий отставил тарелку с кашей, тоже вышел во двор.

Аксинья стояла около крыльца, прижав к груди ладонь. Григорий обнял ее, с тревогой спросил:

— Ты чего, Ксюша?

— Тошно, и голова болит.

— Пойдем в хату, приляжешь.

— Иди, я зараз.

Голос у нее был глухой и безжизненный, движения вялые. Григорий пытливо посмотрел на нее, когда она вошла в жарко натопленную комнату, заметил горячий румянец на щеках, подозрительный блеск глаз. Сердце у него тревожно сжалось: Аксинья была

явно больна. Он вспомнил, что и вчера она жаловалась на озноб и головокружение, а перед утром так вспотела, что курчавые на шее прядки волос стали мокрые, словно после мытья; он заметил это, проснувшись на заре, и долго не сводил глаз со спавшей Аксиньи и не хотел вставать, чтобы не потревожить ее сон.

Аксинья мужественно переносила дорожные лишения, она даже подбадривала Прохора, который не раз говаривал: «И что это за чорт, за война, и кто ее такую выдумал? Едешь день деньской, а приедешь — заночевать негде, и неизвестно, докуда же так будем командироваться?». Но в этот день не выдержала и Аксинья. Ночью, когда улеглись спать, Григорию показалось, что она плачет.

— Ты чего это? — спросил он шепотом. — Чего у тебя болит?

— Захворала я... Как же теперь будем? Бросишь меня?

— Ну, вот, дура! Как же я тебя брошу? Не кричи, может — это так у тебя, приостыла с дороги, а ты уж испужалась.

— Гришенька, это — тиф!

— Не болтай зря! Ничего не видно; лоб у тебя холодный, может — и не тиф, — утешал Григорий, но в душе был убежден, что Аксинья заболела сыпняком, и мучительно раздумывал, как же поступить с ней, если болезнь свалит ее с ног?

— Ох, тяжело так ехать! — шептала Аксинья, прижимаясь к Григорию. — Ты глянь, сколько народу набивается на ночевках! Вши нас заедят, Гриша! А мне и обглядеть себя негде, сквозь мужчины... Я вчера уж вышла в сарай, растелешилась, а их на рубахе... Господи, я сроду такой страсти не видала! Я как вспомню про них — и тошно мне становится, исть ничего не хочу... А вчера ты видал у этого старика, какой на лавке спал, сколько их? Прямо посверх чекменя полозеют.

— Ты об них не думай, заладила чорт-те об чем! Ну, вши — и вши, их на службе не считают, — с досадой прошептал Григорий.

— У меня все тело зудит.

— У всех зудит, чего ж теперь делать? Терпи. Приедем в Екатеринодар, там обмоемся.

— А чистое хучь не надевай, — со вздохом сказала Аксинья. — Пропадем мы от них, Гриша!

— Спи, а то завтра рано будем трогаться.

Григорий долго не мог уснуть. Не спала и Аксинья. Она несколько раз всхлипнула, накрыв голову полой шубы, потом долго ворочалась, вздыхала и уснула только тогда, когда Григорий, повернувшись к ней лицом, обнял ее. Среди ночи Григорий проснулся от резкого стука. Кто-то ломился в дверь, зычно кричал:

— А ну, открывайте! А то дверь сломаем! Послули проклятые!..

Хозяин — пожилой и смиренный казак — вышел в сени, спросил:

— Кто такой? Чего вам надо? Ежли ночевать — так у нас негде, и так полным-полно, вернуться негде.

— Открывай, тебе говорят! — кричали с надворья.

В переднюю комнату, широко распахнув двери, ввалилось человек пять вооруженных казаков.

— Кто у тебя ночует? — спросил один из них, чугунно-черный от мороза, с трудом шевеля замерзшими губами.

— Беженцы. А вы кто такие?

Не отвечая, один из них шагнул в горницу, крикнул:

— Эй, вы! Разлеглись! Выметайтесь отсель зараз же! Тут войска становятся. Подымайтесь, подымайтесь! Да попроворней, а то мы скоро вас вытряхнем!

— Ты кто такой, что так орешь? — хриплым спросонья голосом спросил Григорий и медленно поднялся.

— А вот я тебе покажу, кто я такой! — казак шагнул к Григорию, и в тусклом свете керосиновой лампочки в руке его матово блеснуло дуло нагана.

— Вон ты какой шустрый... — вкрадчиво проговорил Григорий, — а ну-ка, покажи свою игрушку! — Быстрым движением он схватил казака за кисть руки, стиснул ее с такой силой, что ка-

зак охнул и разжал пальцы. Наган с мягким стуком упал на полость. Григорий оттолкнул казака, проворно нагнулся, поднял наган, положил его в карман, спокойно сказал: — А теперь давай погутарим. Какой части? Сколько вас таких расторопных тут?

Казак, оправившись от неожиданности, крикнул:

— Ребята! Сюда!

Григорий подошел к двери и, став на пороге, прислонясь спиной к косяку, сказал:

— Я — сотник девятнадцатого донского полка. Тише! Не орать! Кто это там гавкает? Вы что это, милые станичники, развоевались? Кого это вы будете вытряхивать? Кто это вам такие полномочия давал? А ну, марш отседова!

— Ты чего шумишь? — громко сказал один из казаков. — Видали мы всяких сотников! Нам, что же, на базу ночевать? Очищайте помещению! Нам такой приказ отдатый — всех беженцев выкидывать из домов, понятно вам? А то, ишь ты, расшумелся! Видали мы вас таких!

Григорий подошел в упор — к говорившему, — не разжимая зубов, процедил:

— Таких ты ишо не видал. Сделать из одного тебя двух дураков? Так я сделаю! Да ты не пьтйся! Это не мой наган, это я у вашего отобрал. На, отдашь ему, да поживей катитесь отседова, пока я бить не начал, а то я с вас скоро шерсти нарву! — Григорий легонько повернул казака, толкнул его к выходу.

— Дать ему взбучки? — раздумчиво спросил дюжий казак с лицом, закутаным верблюжьим башлыком. Он стоял позади Григория, внимательно осматривая его, переступая с ноги на ногу, поскрипывая огромными валенками, подшитыми кожей.

Григорий повернулся к нему лицом и, уже не владея собой, сжал кулаки, но казак поднял руку, дружелюбно сказал:

— Слухай ты, ваше благородие, или как там тебя: погоди, не намахивайся! Мы уйдем от скандалу. Но ты, по но-

нешним временам, на казаков не дуже напирай. Зараз опять подходит такое сурьезное время, как в семнадцатом году. Нарвешься на каких-нибудь отчаянных — и они из одного тебя не то что двоих — пятерых сделают! Мы видим, что офицер из тебя лихой, и по разговору, сдается мне, вроде из нашего брата ты, так ты уж зараз держи себя поаккуратней, а то греха наживешь ..

Тот, у которого Григорий отобрал наган, сказал раздраженно:

— Будет тебе ему акафист читать! Пойдемте в соседнюю хату. — Он первый шагнул к порогу, — проходя мимо Григория, покосился на него, сожалюще сказал: — Не хотим мы, господин офицер, связываться с тобой, а то бы мы тебя окрестили!

Григорий презрительно скривил губы:

— Это ты бы самое и крестил? Иди, иди, пока я с тебя штаны не снял! Крестильщик нашелся! Жалко, что наган твой отдал, таким ухватистым, как ты, не наганы носить, а овечьи чески!

— Пойдемте, ребята, ну его к черту! Не тронь — оно вонять не будет! — добродушно посмеиваясь, проговорил один из казаков, не принимавших участия в разговоре.

Ругаясь, грохоча смерзимися сапогами, казаки толпой вышли в сени. Григорий сурово приказал хозяину:

— Не смей открывать двери! Постучат и уйдут, а нет — разбуди меня.

Верхнечирцы, проснувшиеся от шума, вполголоса переговаривались.

— Вот как рухнулась дисциплина! — сокрушенно вздохнул один из стариков. — С офицером, и как сукины сыны разговаривают... А будь это в старое время? Их бы на каторгу упекли!

— Разговаривают! — это что! Видал, драться намерялись! «Дать ему взбучки?» — говорит один, этот, нерубленая тополина, какой в башлыке. Вот враженики, какие отчаянные стали!

— И ты им это так простишь, Григорий Пантелевич? — спросил один из казаков.

Укрываясь шинелью и с беззлой улыбой прислушиваясь к разговору, Григорий ответил:

— А чего с них возьмешь? Они зараз ото всех оторвались и никому не подчиняются; идут шайкой, без командного состава, кто им судья и кто начальник? Над ними тот начальник, кто сильнее их. У них, небось, и офицера то ни одного в части не осталось. Видал я такие сотня, гольная безотцовщина! Ну, давайте спать.

Аксинья тихо прошептала:

— И на что ты с ними связывался, Гриша? Не насакивай ты на таких, ради Христа! Они и убить могут, такие-то оглашенные.

— Спи, спи, а то завтра рано подымемся. Ну, как ты себя сознаешь? Не легчает тебе?

— Так же.

— Голова болит?

— Болит. Видно, не подыматься мне уж...

Григорий приложил ладонь ко лбу Аксиньи, вздохнул:

— Польшет-то от тебя, как будто от печки. Ну, ничего, не робей! Баба ты здоровая, поправишься.

Аксинья промолчала. Ее томила жажда. Несколько раз она выходила в кухню, пила противную, степлившуюся воду и, преодолевая тошноту и головокружение, снова ложилась на полость.

За ночь являлось еще партии четыре постояльцев. Они стучали прикладами в дверь, открывали ставни, барабанили в окна и уходили только тогда, когда хозяин, наученный Григорием, ругаясь, кричал из сенцев: «Уходите отсюда! Тут штаб бригады помещается!».

На рассвете Прохор и Григорий запрягли лошадей. Аксинья с трудом оделась, вышла. Встало солнце. Из труб к голубому небу стремился сизый дымок. Озаряемая снизу солнцем, высоко в небе стояла румяная тучка. Густой иней лежал на изгороди, на крышах сараев. От лошадей шел пар.

Григорий помог Аксинье сесть в сани, спросил:

— Может, ты приляжешь? Так тебе ловчее будет.

Аксинья утвердительно кивнула головой. Она с молчаливой благодарностью взглянула на Григория, когда

он заботливо укутал ей ноги, прикрыла глаза.

В полдень, когда остановились в поселке Ново-Михайловском, расположенном верстах в двух от шляха, кормить лошадей, Аксинья уже не смогла встать с саней. Григорий под руку ввел ее в дом, уложил на кровать, гостеприимно предложенную хозяйкой.

— Тебе плохо, родимая? — спросил он, наклонясь над побледневшей Аксиньей.

Она с трудом раскрыла глаза, посмотрела затуманенным взором и снова впала в полузабытье. Григорий трясущимися руками снял с нее платок. Щеки Аксиньи были холодны, как лед, а лоб пылал, и на висках, где проступала испарина, намерзали сосульки. К вечеру Аксинья потеряла сознание. Перед этим она попросила пить, шепнула: — Только холодной воды, снеговой. — Помолчала и внятно произнесла: — Кличьте Гришу.

— Я тут. Чего ты хочешь, Ксюша? — Григорий взял ее руку, погладил неумело и застенчиво.

— Не бросай меня, Гришенька!

— Не брошу я, с чего ты берешь?

— Не бросай в чужой стороне... Помру я тут.

Прохор подал воды. Аксинья жадно припала спекшимися губами к краю медной кружки, отпила несколько глотков, со стоном уронила голову на подушку. Через пять минут она бессвязно и невнятно заговорила. Григорий, сидевший у изголовья, разобрал несколько слов: «Надо стирать... подсиньки добудь... рано...». Невнятная речь ее перешла в шопот. Прохор покачал головой, с укором сказал:

— Говорил тебе, не бери ее в дорогу! Ну, что теперь будем делать? Наказание, да и только, истинный бог! Ночевать тут будем? Оглох ты, что ли? Ночевать, спрашиваю, тут будем или тронемся дальше?

Григорий промолчал. Он сидел, сгорбясь, не сводя глаз с побледневшего лица Аксиньи. Хозяйка, — радушная и добрая женщина, — указывая глазами на Аксинью, тихонько спросила у Прохора:

— Жена ихняя? И дети есть?

— И дети есть, все есть, одной удачи нам нету, — бормотнул Прохор.

Григорий вышел во двор, долго курил, присев на сани. Аксинью надо было оставлять в поселке, дальнейшая поездка могла закончиться для нее гибелью. Это было Григорию ясно. Он вошел в дом, снова присел к кровати.

— Будем ночевать, что ли? — спросил Прохор.

— Да. Может, и завтра перестоем.

Вскоре пришел хозяин — низкорослый и щуплый мужик с пронырливыми, бегающими глазами. Постукивая деревяжкой (одна нога его была отнята по колено), он бодро прохромал к столу, разделся, недоброжелательно покосился на Прохора, спросил:

— Господь гостей дал? Откуда? — и, не дожидаясь ответа, приказал жене: — Живо дай чего-нибудь перехватить, голодный я, как собака!

Он ел долго и жадно. Шныряющий взгляд его часто останавливался на Прохоре, на неподвижно лежавшей Аксинье. Из горницы вышел Григорий, поздоровался с хозяином. Тот молча кивнул головой, спросил:

— Отступаете?

— Отступаем.

— Отвоевались, ваше благородие?

— Похоже.

— Это, что же, жена ваша? — хозяин кивнул в сторону Аксиньи.

— Жена.

— Зачем же ты ее на койку? А самим где спать? — с неудовольствием обратился он к жене.

— Больная, Ваня, жалко, как-никак.

— Жалко! Всех их не ужалеешь, вон их сколько прет! Стесните вы нас, ваше благородие...

В голосе Григория прозвучала несвойственная ему просительность, почти мольба, когда он, обращаясь к хозяевам, прижимая руку к груди, сказал:

— Добрые люди! Пособите моей беде, ради христа. Везть дальше ее нельзя, помрет, дозвольте оставить ее у вас. За догляд я заплачу, сколько положите, и всю жизнь буду помнить вашу доброту... Не откажите, сделайте милость!

Хозяин вначале отказался наотрез, ссылаясь на то, что ухаживать за больной будет некогда, что она стеснит их, а потом, кончив обедать, сказал:

— Само собой — даром кто же будет за ней уход несть. А сколько бы вы положили за уход? Сколько вам будет не жалко положить за наши труды?

Григорий достал из кармана все деньги, какие имел, протянул их хозяину. Тот нерешительно взял пачку донских кредиток — сляняв пальцы, пересчитал их, осведомился:

— А николаевских у вас нету?

— Нет.

— Может, керенки есть? Эти уж больно ненадежные...

— И керенок нету. Хотите, коня своего оставлю?

Хозяин долго соображал, потом раздумчиво ответил:

— Нет. Я бы, конечно, взял лошадь, чам в крестьянстве лошадь — первое дело, но по нынешним временам это не подходит: не белые, так красные все одно ее заберут и попользоваться не придется. У меня вон какая-то безногая кобыленка держится, и то души нет, того и гляди, и эту обратят и увезут со двора. — Он помолчал в раздумьи и, как бы оправдываясь, добавил: — Вы не подумайте, что я такой ужасный жадный, упаси бог! Но посудите сами, ваше благородие: она пролежит месяц, а то и больше, то подай ей, то прими, опять же кормить ее надо, хлебец, молочко, какое-то там яичко, мясца, а ведь все это денежку стоит, так я говорю? Также и постирать за ней надо и обмыть ее, и все такое прочее... То моя баба по хозяйству возилась, а то надо возле нее уход несть. Это дело нелегкое! Нет, вы уж не скупитесь, накиньте что-нибудь. Я — инвалид, видите — безногий, какой из меня добытчик и работник? Так, живем, чем бог пошлет, с хлеба да на квас перебиваемся...

С закипевшим глухим раздражением Григорий сказал:

— Я не скуплюсь, добрая твоя душа. Все деньги, какие были, я тебе отдал, я проживу и без денег. Чего же ты ишо хочешь с меня?

— Так уж и все деньги вы отдали? — недоверчиво усмехнулся хозяин. — При вашем жалованьи у вас их должны быть целые сумки.

— Ты скажи прямо, — бледнея, проговорил Григорий: — оставите вы у себя больную или нет?

— Нет, уж раз вы так считаетесь — оставлять ее нам нету резону. — Голос хозяина звучал явно обиженно. — Тоже, дело это не из простых... Жена офицера, то да се, соседи узнают, а там товарищи придут следом за вами, узнают и начнут тягать... Нет, в таком разе забирайте ее, может, кто из соседей согласится, возмет. — С видимым сожалением он вернул Григорию деньги, достал кисет и начал сворачивать цыгарку.

Григорий надел шинель, сказал Прохору:

— Побудь возле нее, я пойду прищу квартиру.

Он уже взялся за дверную скобу, когда хозяин остановил его:

— Погодите, ваше благородие, чего вы спешите? Вы думаете, мне не жалко бедную женщину? Очень даже жалко, и сам я в солдатах служил и уважаю ваше звание и чин, а к этим деньгам вы не могли бы чего-нибудь добавить?

Тут не выдержал Прохор: побагровев от возмущения, он прорычал:

— Чего же тебе добавлять, аспид ты безногий?! Отломать тебе последнюю ногу, вот чего тебе надо добавить! Григорий Пантелевич! Дозволь, я его изватлаю, как цуцика, а послая погрузим Аксинью и поедем, будь он трижды, анафема, проклят!..

Хозяин выслушал задыхающуюся речь Прохора, не прервав его ни словом; под конец сказал:

— Напрасно вы меня обижаете, служивые! Тут — дело полюбовное, и ругаться, остужаться нам не из чего. Ну, чего ты на меня накинулся, казачок? Да разве я о деньгах говорю? Я вовсе не об этой добавке речь вел! Я к тому сказал, что, может, у вас есть какое лишнее вооружение, ну, скажем, винтовка, или какой ни на есть револьвер... Вам все равно это, иметь или не иметь, а для нас, по нынешним временам,

это—целое состояние. Для дома непременно надо оружие иметь! Вот к чему я это подводил! Давайте деньги, какие давали, и прикиньте к этому винтовочку, и — по рукам, оставляйте вашу больную, будем глядеть за ней, как за своей родной, вот вам крест!

Григорий посмотрел на Прохора, тихо сказал:

— Дай ему мою винтовку, патронов, а потом иди, запрягай. Нехай остается Аксинья... Бог мне судья, но везть ее на смерть я не могу!

### ГЛАВА XXVII

Дни потянулись серые и безрадостные. Оставив Аксинью, Григорий сразу утратил интерес к окружающему. С утра садился в сани, ехал по раскинувшейся, бескрайней, заснеженной степи, к вечеру, приискав где-нибудь пристанище для ночлега, ложился спать. И так изо дня в день. То, что происходило на отодвигавшемся к югу фронте, его не интересовало. Он понимал, что настоящее, серьезное сопротивление кончилось, что у большинства казаков иссякло стремление защищать родные станицы, что белые армии, судя по всему, заканчивают свой последний поход и, не удержавшись на Дону, — на Кубани уже не смогут удержаться...

Война подходила к концу. Развязка наступала стремительно и неотвратимо. Кубанцы тысячами бросали фронт, раз'езжались по домам. Донцы были сломлены. Обескровленная боями и тифом, потерявшая три четверти состава, Добровольческая армия была не в силах одна противостоять напору окрыленной успехами Красной армии.

Среди беженцев шли разговоры, что на Кубани растет возмущение, вызванное зверской расправой генерала Деникина с членами Кубанской Рады. Говорили, что Кубань готовит восстание против Добровольческой армии и что, будто бы, уже ведутся переговоры с представителями Красной армии о беспрепятственном пропуске советских войск на Кавказ. Упорно говорили и о том, что в станицах Кубани и Терека к донцам относятся резко враждебно,

так же, как и к добровольцам, и что, якобы, где-то около Кореновской уже произошел первый большой бой между донской дивизией и кубанскими пластунами.

Григорий на остановках внимательно прислушивался к разговорам, с каждым днем все больше убеждаясь в окончательном и неизбежном поражении белых. И все же временами у него рождалась смутная надежда на то, что опасность заставит распыленные, деморализованные и враждующие между собою силы белых объединиться, дать отпор и опрокинуть победоносно наступающие красные части. Но после сдачи Ростова он утратил эту надежду, и слух о том, что под Батайском после упорных боев красные начали отступать, — встретил недоверчиво. Угнетаемый безделием, он хотел было влиться в какую-либо воинскую часть, но, когда предложил это Прохору, — тот решительно воспротивился:

— Ты, Григорий Пантелевич, видать, окончательно спятил с ума! — возмущенно заявил он. — За каким мы чертом полезем туда, в это пекло? Дело конченное, сам видишь, чего же мы будем себя в трату давать за-зря? Аль ты думаешь, что мы двое им пособим? Пока нас не трогают и силком не берут в часть, надо, как ни мога скорее, уезжать от греха подальше, а ты вон какую чертовщину порешь! Нет, уж давай, пожалуйста, мирно, по-стариковски отступать. Мы с тобой и так предостаточно навоевались за пять лет, зараз нехэй другие пробуются! Из-за этого я триппер добывал, чтобы мне сызнова на фронте кальячить? Спасибо! Уважил! Я этой войной так наелся, что до сих пор врать тынет, как вспомню о ней! Хочешь — ступай сам, а я несогласный. Я тогда подамся в госпиталь, с меня хватит!

После долгого молчания Григорий сказал:

— Будь по-твоему. Поедем на Кубань, а там видно будет.

Прохор вел свою линию: в каждом крупном населенном пункте он разыскивал фельдшера, приносил порошки или питье, но лечился без особенного усер-

дия, и на вопрос Григория, почему он, выпив один порошок, остальные уничтожает, старательно затаптывая в снег, — объяснил это тем, что хочет не излечиться, а только заглушить болезнь, так как при этом условии, в случае переосвидетельствования, ему будет легче уклониться от посылки в часть. В станице Великокняжеской какой-то бывалый казак посоветовал ему лечиться отваром из утиных лапок. С той поры Прохор, везжая в хутор или станицу, спрашивал у первого встречного: «А скажите на милость, утей у вас тут водят?». И когда недоумевающий житель отвечал отрицательно, ссылаясь на то, что поблизости нет воды и уток разводить нет расчета, — Прохор с уничтожающим презрением цедил: «Живете тут, чисто нелюди! Вы, небось, и утиного крику сроду не слышали! Пеньки степовые!» — Потом, обращаясь к Григорию, с горьким сожалением добавлял: «Неиначе поп нам дорогу перешел! Ни в чем нету удачи! Ну, будь у них тут утки — зараз же купил бы одну, никаких денег не жалеючи, либо украл бы, и пошли бы мои дела на поправку, а то уж дюже моя болезнь разыгрывается! Спервоначалу была забавой, только дремать в дороге не давала, а зараз, проклятая, становится чистым наказанием! На снях не удержишься!».

Не встречая сочувствия со стороны Григория, Прохор надолго умолкал и иногда по целым часам ехал, не проронив ни слова, сурово нахохлившись.

Томительно длинными казались Григорию уходящие на передвижение дни, еще более долгими были несклянчаемые зимние ночи. Времени, чтобы обдумать настоящее и вспомнить прошедшее, было у него в избытке. Подолгу перебирал он в памяти пролетевшие годы своей диковинно и нехорошо сложившейся жизни. Сидя на снях, устремив затуманенный взор в снежные просторы исполненной мертвого безмолвия степи или лежа ночью с закрытыми глазами и стиснутыми зубами где-нибудь в душной, переполненной людьми комнатухе, — думал все об одном: об Аксинье, больной, обеспамятевшей, брошенной в безвестном поселке, о близких, остав-

ленных в Татарском... Там, на Дону, была Советская власть, и Григорий постоянно с тоскливой тревогой спрашивал себя: «Неужто будут за меня терзать маманю или Дуняшку?». И тотчас же начинал успокаивать себя, припоминал не раз слышанные в дороге рассказы о том, что красноармейцы идут мирно и обращаются с населением занятых станиц хорошо. Тревога постепенно угасала, мысль, что старуха-мать будет отвечать за него, уже казалась ему невероятной, дикой, ни на чем не основанной. При воспоминаниях о детишках на секунду сердце Григория сжималось грустью; он боялся, что не уберегут их от тифа, и в то же время чувствовал, что, при всей его любви к детям, после смерти Натальи уже никакое горе не сможет потрясти его с такой силой...

В одном из сальских зимовников они с Прохором прожили четыре дня, решив дать лошадям отдых. За это время у них не раз возникали разговоры о том, что делать дальше. В первый же день, как только приехали на зимовник, Прохор спросил:

— Будут наши на Кубани держать фронт или потянут на Кавказ? Как думаешь?

— Не знаю. А тебе не все равно?

— Придумал тоже! Как же это мне может быть все равно? Этак нас загонют в бусурманские земли, куда-нибудь под турка, а потом и пой репку там?

— Я тебе не Деникин, и ты меня об этом не спрашивай, куда нас загонюг, — недовольно отвечал Григорий.

— Я потому спрашиваю, что примет такой слух, будто на речке Кубани сызнова начнут обороняться, а к весне тронутся во-своиасы.

— Кто это будет обороняться? — усмехнулся Григорий.

— Ну, казаки и кадеты, окромя кто же?

— Дурацкие речи ведешь! Повылазило тебе, не видишь, что кругом делается? Все норывают поскорее удрать, кто же обороняться-то будет?

— Ох, парень, я сам вижу, что дело наше — табак, а все как-то не верится... — вздохнул Прохор. — Ну, а на



случай, ежели придется в чужие земли плыть или раком полозть, ты — как? Тронешься?

— А ты?

— Мое дело такое: куда ты — туда и я. Не оставаться же мне одному, ежели народ поедет.

— Вот и я так думаю. Раз уж попали мы на овечье положение, значит — надо за баранами держаться...

— Они, бараны-то, иной раз чорт-те куда сдуру прут... Нет, ты эти побаски брось! Ты дело говори!

— Отвяжись, пожалуйста! Там видно будет. Чего мы с тобой раньше времени ворожить будем!

— Ну, и аминь! Больше пытаться у тебя ничего не буду, — согласился Прохор.

Но на другой день, когда пошли убирать лошадей, снова вернулся к прежнему разговору:

— Про зеленых ты слышал? — осторожно спросил он, делая вид, будто рассматривает держак вил-тройчаток.

— Слышал, дальше что?

— Это ишо какие-такие зеленые проявились? Они за кого?

— За красных.

— А с чего ж они зелеными кличутся?

— Чума их знает, в лесах хоронятся, должно, от этого и кличка.

— Может, и нам с тобой позеленеть? — после долгого раздумья несмело предложил Прохор.

— Что-то охоты нету.

— А окромя зеленых нету никаких таких, чтобы к дому поскорей прибиться? Мне-то один чорт — зеленые или синие или какие-нибудь там яично-желтые, я в любой цвет с дорогой душой окунусь, лишь бы этот народ против войны был и по домам служивых спушал...

— Потерпи, может — и такие провяются, — посоветовал Григорий.

В конце января, в туманный ростепельный полдень, Григорий и Прохор приехали в слободу Белую Глину. Тысяч пятнадцать беженцев сбилось в слободу, из них — добрая половина больных сыпняком. По улицам в поисках квартир и корма лошадям ходили каза-

ки в куцых английских шинелях, в полубухах, в бешметах, раз'езжали всадники и подводы. Десятки истощенных лошадей стояли во дворах возле яслей, уныло пережевывая солому; на улицах, в переулках виднелись брошенные сани, обозные брочки, зарядные ящики. Проезжая по одной из улиц, Прохор всмотрелся в привязанного к забору высокого гнедого коня, сказал:

— А ить это кума Андрюшки конь! Стал-быть, наши хуторные тут. — И проворно соскочил с саней, пошел в дом узнать.

Через несколько минут из дома, накинув внапашку шинель, вышел Андрей Топольсков — кум и сосед Прохора. Сопровождаемый Прохором, он степенно подошел к саням, протянул Григорию черную, провонявшую лошадиным потом руку.

— С хуторским обозом едешь? — спросил Григорий.

— Вместе нужду трепаем.

— Ну, как ехали?

— Езда известная... После каждой ночевки людей и лошадей оставляем...

— Старик-то мой живой-здоровый?

Глядя куда-то мимо Григория, Топольсков вздохнул:

— Плохо, Григорий Пантелевич, плохие дела... Поминай отца, вчера на вечер отдал богу душу, скончался...

— Похоронили? — бледнее, спросил Григорий.

— Не могу сказать, нынче не был там. Поедем, я укажу квартиру... Держи, кум, направо, четвертый дом с правой руки от угла.

Под'ехав к просторному, крытому жестью дому, Прохор остановил лошадей возле забора, но Топольсков посоветовал заехать во двор.

— Тут тоже тесновато, человек двадцать народу, но как-нибудь поместитесь, — сказал он и соскочил с саней, чтобы открыть ворота.

Григорий первый вошел в жарко натопленную комнату. На полу вповалку лежали и сидели знакомые хуторяне. Кое-кто чинил обувь и упряжь, трое, в числе их старик Бесхлебнов, в супряде с которым ехал Пантелей Прокофьевич, ели за столом похлебку. Казаки при ви-

де Григория встали, хором ответили на короткое приветствие.

— Где же отец? — спросил Григорий, снимая папаху, оглядывая комнату.

— Беда у нас... Пантелей Прокофич уж упокойник, — тихо ответил Бесхлебнов и, вытерев рукавом чекменя рот, положил ложку, перекрестился. — Вчера на ночь преставился, царство ему небесное.

— Знаю. Похоронили?

— Нет ишо. Мы его нынче собирались похоронять, а зараз он вот тут, вынесли его в холодную горницу. Пройди сюда. — Бесхлебнов открыл дверь в соседнюю комнату, — словно извиняясь, сказал: — С мертвым ночевать в одной комнатухе не хотели казаки, дух чижейый, да тут ему и лучше... Тут не топят хозяева.

В просторной горнице резко пахло конопляным семенем, мышами. Весь угол был засыпан просом, коноплей, на лавке стояли кадки с мукой и маслом. Посреди комнаты на полости лежал Пантелей Прокофьевич. Григорий отстранил Бесхлебнова, вошел в горницу, остановился около отца.

— Две недели хворал, — вполголоса говорил Бесхлебнов. — Ишо под Мечеткой повалил его тиф. Вот где припало упокоиться твоему папаше... Такая-то наша жизнь...

Григорий, наклонясь вперед, смотрел на отца. Черты родного лица изменила болезнь, сделала их странно непохожими, чужими. Бледные, осунувшиеся щеки Пантелея Прокофьевича заросли седой щетиной, усы низко нависли над ввалившимся ртом, глаза были полузакрыты, и синеватая эмаль белков уже утратила искрящуюся живость и блеск. Отвисшая нижняя челюсть старика была подвязана красным шейным платком, и на фоне красной материи седые курчавые волосы бороды казались еще серебристее, белее.

Григорий опустил на колени, чтобы в последний раз внимательнее рассмотреть и запомнить родное лицо, и невольно содрогнулся от страха и отвращения: по серому восковому лицу Пантелея Прокофьевича, заполняя впадины глаз, морщины на щеках, ползали вши.

Они покрывали лицо живой движущейся пеленою, кишели в бороде, копошились в бровях, серым слоем лежали на стоячем воротнике синего чекменя...

Григорий и двое казаков выдолбили пещинами в мерзлом, чугунно-твердом суглинке могилу, Прохор из обрезков досок кое-как сколотил гроб. На исходе дня отнесли Пантелея Прокофьевича и зарыли в чужой ставропольской земле. А час спустя, когда по слободе уже зажглись огни, Григорий выехал из Белой Глины по направлению на Новопокровскую.

В станице Кореновской он почувствовал себя плохо. Полдня потратил Прохор на поиски доктора, и все же нашел какого-то полупьяного военного врача, с трудом уговорил его, привел на квартиру. Не снимая шинели, врач осмотрел Григория, пощупал пульс, уверенно заявил:

— Возвратный тиф. Советую вам, господин сотник, прекратить путешествие, иначе подомрете в дороге.

— Дождаться красных? — криво усмехнулся Григорий.

— Ну, красные, положим, еще далеко.

— Будут близко...

— Я в этом не сомневаюсь. Но вам лучше остаться. Из двух зол я бы предпочел это, оно — меньшее.

— Нет, я уж как-нибудь поеду, — решительно сказал Григорий и стал натягивать гимнастерку. — Лекарства вы мне дадите?

— Поезжайте. дело ваше. Я должен был дать вам совет, а там — как вам угодно. Что касается лекарств, то лучшее из них — покой и уход: можно бы прописать вам кое-что, но аптека эвакуирована, а у меня ничего нет кроме хлороформа, иода и спирта.

— Дайте хучь спирту!

— С удовольствием. В дороге вы все равно умрете, поэтому спирт ничего не изменит. Пусть ваш денщик идет со мной, тысячку грамм я вам отпущу, я — добрый... — Врач козырнул, вышел, нетвердо шагая.

Прохор принес спирту, добыл где-то плохонькую пароконную повозку, за-

пряг лошадей, с мрачной иронией доложил, войдя в комнату:

— Коляска подана, ваше благородие!

И снова потянулись тягостные, унылые дни.

На Кубань из предгорий шла торопливая южная весна. В равнинных степях дружно таял снег, обнажались жирно блестящие черноземом проталины, серебряными голосами возговорили вешние ручьи, дорога зарябилась просовами и уже по-весеннему засияли далекие голубые дали, и глубже, синее, теплее стало просторное кубанское небо.

Через два дня открылась солнцу озимая пшеница, белый туман заходил над пашнями. Лошади уже хлюпали по оголившейся от снега дороге, выше щеток проваливаясь в грязь, застревая в балочках, натужно выгибая спины, дымясь от пота. Прохор по-хозяйски подвязал им хвосты, часто слезал с повозки, шел сбоку, с трудом вытаскивая из грязи ноги, бормотал:

— Это не грязь, а смола липучая, истинный бог! Кони не просыхают от места и до места.

Григорий молчал, лежа на повозке, зябко кутаясь в тулуп. Но Прохору было скучно ехать без собеседника; он трогал Григория за ноги или за рукав, говорил:

— До чего грязь тут крутая! Слезь, попробуй! И охота тебе хворать!

— Иди к чорту! — чуть слышно шептал Григорий.

Встречаясь с кем-либо, Прохор спрашивал:

— Дальше ишо гуще грязь или такая же?

Ему, смеясь, отвечали шуткой, и Прохор, довольный тем, что перебросился с живым человеком словом, некоторое время шел молча, часто останавливая лошадей, вытирая со своего кривого лба ядреный зернистый пот. Их обгоняли конные, и Прохор, не выдержав, останавливал их, здоровался, спрашивал, куда едут и откуда сами родом, подконец говорил:

— Зря едете... Туда дальше ехать невозможно. Почему? Да потому, что там такая грязюка, — встречные люди говорили, — что кони плывут по пузо,

на повозках колесы не крутятся, а пешие, какие мелкого росту, — прямо на дороге падают и утопают в грязи. Кудый кобель брешет, а я не брешу! За чем мы едем? Нам иначе нельзя, я хворого архирея везу, ему с красными никак нельзя жить вместе...

Большинство конников, беззлобно обругав Прохора, ехало дальше, а некоторые, перед тем, как от'ехать, внимательно смотрели на него, говорили:

— С Дону и дураки отступают? У вас в станице все такие, как ты?

Или еще что-нибудь в этом роде, но не менее обидное. Только один кубанец, отбившийся от партии станичников, всерьез рассердился на Прохора за то, что тот задержал его глупым разговором, и хотел было вытянуть его через лоб плетью, но Прохор с удивительным проворством вскочил на повозку, выхватил из-под полости карабин, положил его на колени. Кубанец от'ехал, матерно ругаясь, а Прохор, хохоча во всю глотку, орал ему вслед:

— Это тебе не под Царицыном в кукурузе хорониться! Пеношник — засученные рукава! Эй, вернись, мамалыжная душа! Налетел? Подбери свой балахон, а то в грязи захлюстаешься! Раскрылатился, куроед! Бабий окорок! Поганого патрона нету, а то бы я тебе намахнул! Брось плеть, слышишь?!

Дуряя от скуки, от безделья, Прохор развлекался, как мог.

А Григорий со дня болезни жил, как во сне. Временами терял сознание, потом снова приходил в себя. В одну из минут, когда он очнулся от долгого забытья, над ним наклонился Прохор:

— Ты ишо живой? — спросил он, участливо засматривая в помутневшие глаза Григория.

Над ними сияло солнце. То клубясь, то растягиваясь в ломаную бархатисто-черную линию, с криком летели в густой синеве неба станицы темнокрылых казарок. Одурающе пахло нагретой землей-травяной молодью. Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в легкие живительный весенний воздух. Голос Прохора с трудом доходил до его слуха, и все кругом было какое-то нереальное,

неправдоподобно уменьшенное, далекое. Позади, приглушенные расстоянием, немо гремели орудийные выстрелы. Неподалеку согласно и размеренно выстукивали колеса железного хода, фыркали и ржали лошади, звучали людские голоса; резко пахло печеным хлебом, сеном, конским потом. До помраченного сознания Григория доходило все это, словно из другого мира. Напрягши всю волю, он вслушался в голос Прохора, с величайшим усилием понял — Прохор спрашивал у него:

— Молоко будешь пить?

Григорий, еле шевеля языком, обливал спекшиеся губы, почувствовал, как в рот ему льется густая, с знакомым пресным привкусом, холодная жидкость.

После нескольких глотков он стиснул зубы. Прохор заткнул горлышко фляжки, снова наклонился над Григорием, и тот скорее догадался по движениям обветренных прохоровых губ, нежели услышал обращенный к нему вопрос:

— Может, тебя оставить в станице? Трудно тебе?

На лице Григория отразились страдание и тревога; еще раз он собрал в комок волю, прошептал:

— Вези... пока помру...

По лицу Прохора он догадался, что тот услышал его, и успокоенно закрыл глаза, как облегчение принимая беспмятство, погружаясь в густую темноту забвения, уходя от всего этого крикливого, шумного мира...

*(Продолжение следует).*

---

и регулярно, что наши агитаторы будут просвещать красноармейцев и окружающее их население с утроенной энергией, что наш тыл будет очищаться от скверны и укрепляться всеми силами, всеми средствами.

Только при этих условиях можно считать победу обеспеченной».

Поход белополяков, которыми командовал лично Пилсудский, закончился паническим бегством их с Украины. Огромную роль в этой победе сыграла Первая Конная армия, организованная, как известно, по замыслу товарища Сталина.

Поляков пытался поддержать Врангель, начавший вылезать из своего «крымского логова».

Говоря о несомненных наших успехах на антипольских фронтах, товарищ Сталин ни на минуту не забывал о Врангеле.

«... Партия должна начертать на своем знамени новый очередной лозунг: «Помните о Врангеле!», «Смерть Врангелю!».

Организация нового фронта была поручена Сталину.

Ленин пишет Сталину: «Только что провели Политбюро разделение фронтов, чтобы вы исключительно занялись Врангелем...».

7 августа 1920 г. Сталин телеграфирует Ленину из Лозовой: «Седьмого утром наши части форсировали Днепр, заняли Алешки, Каховку и другие пункты на левом берегу, есть трофеи, которые подсчитываются. По всему Крымскому фронту наши перешли в наступление и продвигаются вперед».

В книге напечатаны документы

Ленина и Сталина, относящиеся к периоду апреля—августа 1918 г. на Северном фронте. Приведен разговор по прямому проводу Ленина и Сталина с Юрьевым (Алексеевым), председателем мурманского совета, начавшего осуществлять, под влиянием авантюристической политики Троцкого, позорное сотрудничество с интервентами. Создалось запутанное положение, и товарищ Сталин, ставя вопросы в упор, расшифровывает подоплеку предательской деятельности мурманского совета.

Книга заканчивается документами о положении на Кавказе, где товарищу Сталину было поручено руководство ликвидацией уцелевших еще белогвардейских отрядов (речь идет о 1920 г.), и материалами о съезде народов Дагестана.

Бурные овации, которыми приветствовал съезд народов Дагестана великого Сталина, были признанием того, что Красная Армия «является армией братства между народами нашей страны, армией освобождения угнетенных народов нашей страны, армией защиты свободы и независимости народов нашей страны». (Сталин.)

Так, шаг за шагом, показывает замечательная книга К. Е. Ворошилова облик великого Сталина, самого дорогого и близкого друга Красной Армии и Флота. В годы гражданской войны Ленин и партия направляли его в самые опасные и ответственные места, на все фронты, и всюду товарищ Сталин организовывал победу.

Его неусыпным заботам обязана наша родина тем, что мы имеем могучую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, готовую сокрушить врага на его же территории, откуда бы он ни пришел.

Редколлегия: Ф. В. Гладков.  
Л. М. Леонов.  
А. Г. Малышкин.  
В. П. Ставский.

Ответственный редактор В. П. Ставский.

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».